



Илья ЭРЕНБУРГ

Владимир Маяковский

Теперешний облик Маяковского неубедителен, он даже может ввести в обман. Пристойный, деловитый господин, который весьма логично, но довольно безнадежно доказывает какому-то советскому чиновнику, что перевертывающие мир вверх дном не должны пугаться плаката, весь «футуризм» которого состоит в отсутствии на пиджаке пуговиц. Где прежний озорник в желтой кофте, апаш с подведенными глазами, обертывавший шею огромным кумачовым платком? Что это — мануфактурный кризис или нечто более существенное?

Конечно, весьма глупо, даже со стороны страстных почитателей прозы, негодовать на первые голубые пятна. Есть логика во всем: и в концессиях, и в образцовой тишине московских улиц. И в не летающем аэроплане (все же крылья имеются, — следовательно, аэроплан, а не велосипед), и в остепенившемся Маяковским. Но чтобы тот же аэроплан уразуметь, надо поглядеть его, когда он летает. Маяковский пребывает в моем сознании бунтарем — немного святой Павел, разбивающий десяток-другой богов, немного задорный телеграфист, отправляющий по радио первое, обязательно первое, революционное воззвание Клемансо и Ллойд-Джорджу, немного хороший, достаточно раздраженный бык в музее Севра.

Иных шокировала наглость Маяковского, не просто наглость, но воистину великолепная. Несколько крепких слов на эстраде, засунутые в жилетные карманы пальцы и ожидание безусловных аплодисментов. Маяковский не может пройти по улице незамеченным, ему необходимы повернутые назад головы. Только, на мой взгляд, ничего предосудительного в этом нет. Реклама как реклама, и кто ею не пользовался? Задолго до американских фирм коммивояжеры апостольского Рима рядились в костюмы, не уступающие желтой кофте, и третировали своих клиентов почище футуристов.

Реклама для Маяковского отнюдь не прихоть, но крайняя необходимость. Чтоб стихи его дошли до одного, они должны дойти до тысяч и тысяч. Это не тщеславие, а особенности поэтического организма. Можно ли корить отменно хороший автомобиль «Форд» за то, что он никак не помещается на полочке рядом с китайскими болванчиками? Когда стихи Ахматовой читаешь вслух, не то, что в огромном зале, даже в тесной спальне, — это почти оскорбление, их надобно не говорить, но шептать. А «камерный Маяковский» — это явная бессмыслица. Его стихи надо реветь, трубить, изрыгать на площадях. Поэтому тираж для Маяковского — вопрос существования. С величайшей настойчивостью, находчивостью, остроумием он расширяет тесную базу современной русской поэзии. Его стихи готовы стать частушками, поговорками, злободневными остротами, новым народным плачем и улюлюканьем.

Голос у Маяковского необычайной силы. Он умеет слова проносить так, что они попадают, как камни, пущенные из пращи. Его речь монументальна. Его сила — в силе. Его образы, — пусть порой невзыскательные, — как-то физически больше обычных. Иногда Маяковский старается еще усилить это впечатление наивным приемом — арифметикой. Он очень любит говорить о тысячах тысяч и миллионах миллионов. Но наивности у Маяковского сколько угодно. Оглянитесь на эти неожиданно выскакивающие в стихах имена Галифэ, Бяликов, Тальони, Гофманов, прочих — и вы вспомните бедненького сенегальца перед витринами.

Вместе с силой — здоровье. Как вам известно, в поэтическом обществе здоровье вещь предосудительная, и Маяковский долго скрывал его, пользуясь для этого и лорнетку пудренного Бурлюка, и подлинное безумие Хлебникова. Наивные девушки верили и почитали Маяковского поэтом «изломанным, больным, страдающим». Но достаточно было и тогда взглянуть, как он играет на бильярде, послушать, как он орет на спекулянта посетителя «кафе футуристов», прочесть «Облако в штанах», — это изумительное прославление плотской любви, «Мистерия-Буфф» — этот неистовый гимн взалкавшему чреву, чтобы удивиться, как мог вырасти на петербургской земле, гнилой и тряской, такой прямой, крепкий, ядреный дуб. После революции, когда безумие стало повседневностью, Маяковский разгримировался, оставил в покое «председателя земного шара» Хлебникова и показался в новом виде. Глаза толпы ослепили его рассудочность и страсть к логике. Но ведь его пророчества о конце мира всегда напоминали бюллетени метеорологической станции. Желтая кофта бол-

талась, выдавая не плоть, но позвонки скелета, четкие математические формулы. Бунтарь, безумец, да, но еще — улучшенное издание Брюсова. А впрочем, не это ли современный бунт. Пожалуй, мир легче взорвать цифрами, нежели истощными воплями.

В вагоне, прислушиваясь к грохоту колес, можно подобрать под него различные строки различных размеров, но ритм от этого не станет менее однообразным. Приемами декламации, даже внешним видом — чуть ли не каждое слово с новой строки — тщится Маяковский скрыть однозвучность своего ритма. Он пробует рассеять уже остроумными звукоподражаниями, акробатическими составными рифмами (ну, чем не Брюсов?) и прочими фокусами, но все же слышатся одни, конечно, перворазрядные барабаны.

Зато яркость видений Маяковского разительна. Это не сияющие холсты венецианцев, но грандиозные барельефы с грубыми, высеченными из косого камня, телами героев. Да и сам он, долговязый, со взглядом охотника на мамонтов, с тяжелой вислой челюстью — варвар и герой нашей эпопеи. В дни величайших катастроф, сдвигов, перестановок мировой мебели, он и, быть может, только он не испугался, не растерялся, даже не мудрствовал. Увидев не «двенадцать», но, конечно, по меньшей мере, двенадцать миллионов, он оставил в покое Христа, собрание Руси, профессора Штейнера и прочие, для многих «смягчающие вину обстоятельства». Он здоров, силен и молод, любит таблицу умножения и солнце (не «светило», но просто). Выйдя навстречу толпе, он гаркнул простое, понятное «хлебище дайте жрать ржаной». «Дайте жить с живой женой». Крик животного отчаянья и высокой надежды. Здесь кончается быт и начинается эпос.

